**Андрей Лазарчук**

**Колдун**

Здесь лес раздавался вправо и влево, открывая невысокому северному солнышку зеленый сочный луг с медлительными пятнистыми коровами на нем, стога запасенного впрок сена и изгородь, широко обнесенную вокруг дома, добротного и двухэтажного, где жили Освальд и отец Освальда, а по другую сторону дома тихо стоял пруд, светлый по утрам и непроглядно-черный после полудня, когда на воду надвигалась тень тысячелетних дубов, и дальше, в вечной уже тени тех дубов, лежало тяжелое замшелое тело плотины, останавливающее на время бег воды, и вода, прокатываясь по обросшему зеленым нежным шелком желобу, лилась в ковши мельничного колеса и в тех ковшах тихо спускалась вниз, в постоянную прохладу и полумрак у подножия плотины, в заросли осоки, мокролиста и конского щавеля, и дальше продолжала свой бег незаметно, кроясь за ивняком и черемухой, пока, слившись с другими такими же ручейками и речками, напитавшись подземными ключами, не обретала силу и имя реки и уже с силой и именем, достойно, входила в спокойную и полноводную в любое время года реку Лова, разделявшую пополам уездный город Капери, город, в котором есть все, даже железная дорога, и по понедельникам и четвергам от перрона отходят составленные из пассажирских и товарных вагонов поезда, идущие в портовый город Скрей, где у причалов стоят черные и белые пароходы со всех морей, а по средам и субботам поезда возвращаются обратно, и тогда на вокзале становится шумно и тесно, и все такси города Капери собираются на привокзальной площади, дымя и пофыркивая, и развозят приехавших по домам и гостиницам, а если кому-то надо попасть в близлежащие села и хутора, то им никогда не отказывают, но берут довольно большие — по здешним меркам — деньги; с хуторов же приходится добираться своим ходом, и отец Освальда, сложив в деревянный, с навесным замочком чемодан кой-какие пожитки, зашив деньги за подкладку и сунув в заплечный мешок каравай хлеба, копченый окорок и четверть домашней можжевеловой водки, пешком дошел от дома до хутора Бьянки Пальчековой и там договорился с Бьянкой, что ее работник, китаец Лю Шичен, за два динара довезет его на бричке до вокзала, а на обратном пути прихватит ветеринара, потому что у свиней третий день понос; Лю был молчалив, и они катили милю за милей, ни о чем не говоря, и отец Освальда с грустью смотрел, как остаются позади родные места и начинаются неродные — граница их была четкая, и даже сердце остановилось и пропустило два или три удара, когда ее пересекали; на вокзале он сел в поезд, и Лю был последним из знакомых Освальду людей, которые его видели.

Через две недели почтальон Бруно принес Освальду письмо. В письме отец просил прощения за свой уход и за то, что забрал большую часть наличных денег. Дальше он извещал Освальда, что купил полбилета на пароход «Глория», идущий на Таити с грузом цветных ситцев и стеклянных бус; оставшуюся неоплаченной половину билета он будет отрабатывать в дороге, нанизывая бусины на нитки. Освальд прочитал письмо и заткнул его за висящую в комнате отца картину в рамке: пальмы, прибой и голые негритянки, купающиеся в прибое.

К Освальду часто заглядывал сын старосты, Шани, с ним Освальд когда-то учился в приходской школе, потом, в тринадцать лет, Освальд стал работать с отцом на мельнице, а Шани отправили в гимназию в Капери, но из последнего, выпускного класса его выгнали без аттестата — за неуспеваемость и чересчур откровенную связь с уборщицей. Теперь Шани приторговывал в лавке своего дяди, ездил за товарами по многим местам, имел много приятелей и подружек, но Освальд чем-то его притягивал — Шани рассказывал ему свежие сплетни и все порывался сводить к девкам, но Освальд упирался и мотал головой. Идти к девкам он боялся. Он вообще их боялся.

Однажды Шани пришел и сказал, что объявлена мобилизация и что завтра в село приезжает мобилизационная команда и медицинская комиссия, будут всех проверять, и чтобы не попасть под ружье, надо дать хабара. Освальд отдал Шани десять золотых десяток и серебряные часы-луковицу с боем. На следующий день, ближе к вечеру, он приехал в село. На площади перед управой было людно и шумно. Стриженые парни толпились в обнесенном веревкой с красными флажками загончике, по углам которого стояли часовые с короткими ружьями. Комиссия работала в пятнистой брезентовой палатке с большим красным крестом. Освальда и еще девятерых парней впустили внутрь и заставили раздеться догола. Им заглядывали в рот и в задницу, ощупывали руки и ноги, били по коленкам резиновым молоточком, выворачивали веки, что-то шептали, и надо было повторить. Потом всем раздали картонные квадратики. На картонке Освальда было написано большими буквами:

«К ВОИНСКОЙ СЛУЖБЕ НЕПРИГОДЕН».

А ниже: «плоскостопие». Шани ждал его у входа. Воздух вне палатки был необыкновенно вкусный, как вода в жаркий день.

— Нормально? — спросил Шани.

— Ага, — сказал Освальд. — Пойдем пить водку.

— А может, к девкам? — предложил Шани.

— Посмотрим, — сказал Освальд, хотя знал, что не пойдет.

— Эх, ты, — сказал Шани. — Ни в пизду, ни в армию. Какая от тебя польза для человечества? Этого Освальд не знал.

Они напились как свиньи. Последнее, что Освальд помнил, это как они с Шани, поддерживая друг друга, дурашливо махали вслед уходящей колонне.

Через три дня объявили, что война началась. У Освальда прибавилось работы: все хотели поскорее смолоть остатки прошлого урожая. Были дни, когда возле мельницы собирался табор телег в сорок. Освальд нанял старого глухонемого Альбина, умевшего все, чтобы он работал ночами. Для освещения приспособили динамо-машину и фару от велосипеда. Сельская управа каждый день отряжала трех мужиков для погрузки-выгрузки. Потом пошло зерно нового урожая. Так продолжалось до декабря, до ледостава. За зиму от отца пришло еще два письма, короткое и длинное. В коротком он писал, что жив и здоров, чего желает и Освальду, что сейчас темно и вокруг океан, что два дня назад вышли из Танжера, засыпав бункера углем по самые бимсы, и теперь бояться нечего. Во втором, длинном, письме он рассказывал про странный остров в Индийском океане, остров, вечно окруженный туманами и поэтому попавший не на все карты. Люди там живут рослые, смуглые и красивые, и все поголовно счастливы, потому что такой мудрой системы правления нет нигде: раз в полгода все жители, достигшие четырнадцати лет, участвуют в лотерее, где разыгрываются королевский титул, титулы советников и придворных, жрецов и судей, а также все прочие сколько-нибудь заметные места в государстве, вплоть до сутенеров, которые там не преступники, а уважаемые предприниматели, потому что проституция на острове является важнейшим источником поступления иностранной валюты; а чтобы придать остроту лотерее, подсыпать в это дело перчику, разыгрывается еще и десять мест в камерах приговоренных к смерти; как правило, новый король, взойдя на престол, объявляет им помилование, но случается, что его отвлекают другие дела… Однажды, в канун Рождества, — Освальд уже встал и начинал топить печь — донесся откуда-то многоголосый звенящий гул. Освальд оделся и вышел из дому. Светало. В небе над ним, ярко высвеченные не взошедшим еще солнцем, вились самолеты. Их было видно очень хорошо: три больших восьмимоторных ползли медленно-медленно, а вокруг них кружились, как пчелы, десятка полтора маленьких. Потом, перекрываясь и накладываясь, стали доноситься другие звуки: будто там, в небе, рвали на полосы крепкие простыни. Два маленьких самолетика закувыркались и упали далеко отсюда. Потом еще один плавно пошел вниз, волоча за собой тонкий розовый шлейф. Самолеты были теперь точно над домом. Освальд подумал, что если сейчас какой-то из них упадет, то упадет прямо сюда, на него. Захотелось убежать, но убегать он не стал — бесполезно. Несколько маленьких — пять или шесть — отошли в сторону, развернулись и бросились на большие. Другие маленькие оказались на их пути, снова раздался треск разрываемых полотнищ, и сразу четыре самолетика, загоревшись, стали падать в разные стороны, рисуя в небе огромный светящийся крест. Наверное, кто-то из нападавших прорвался все-таки к большим самолетам, потому что крайний слева стал оставлять за собой в небе след, все более густой и темный, и через несколько секунд он полыхал весь, как сарай на ветру; он еще шел следом за остальными, но потом вдруг завалился набок и, скользя, как с горы, рухнул со страшным, сотрясшим землю грохотом, и там, где он упал, встала багровая, клубящаяся туча. Только потом Освальд заметил, что в небе, под черным следом его падения, неподвижно висят штук десять маленьких белых кружков. Два оставшихся больших самолета удалялись, рев их моторов замирал, и маленькие самолетики уже не вились вокруг них, а ровненько держались сзади и по одному подлетали к ним и будто бы прилипали снизу к огромным распластанным крыльям. Освальд еще потоптался на крыльце, ожидая продолжения увиденного, но ничего больше не было, и он вернулся к печи. Через час в дверь забарабанили. Освальд осторожно посмотрел в незамерзший уголок окна: у изгороди стояла знакомая полицейская машина, и тот, кто стучал в дверь, был в полицейской шинели, лица не разобрать. Освальд отпер дверь. Это был старший полицейский Ян.

— Входи, — сказал Освальд.

— Видел? — спросил Ян. — Как они нас…

— Видел, — подтвердил Освальд.

— Замерз, как цуцик, — сказал Ян. — Печка в машине ни к черту.

— Зови всех, — сказал Освальд. — Погреетесь.

— Да ну их, — сказал Ян. — Там у меня эти… гражданская гвардия. Пердуны, одним словом. И с ними — парашютистов ловить. Смех, да и только. Не знают, с какого конца винтовка стреляет.

Погреться дашь? — Он звонко щелкнул себя по горлу. Освальд принес полный, до краев, стакан можжевеловой и толстый ломоть ветчины. Ян выцедил водку, прослезился, занюхал ветчиной; потом, разрывая ветчину пальцами, стал есть.

— Бьянкина свининка? — спросил он, жуя.

— Ее, — сказал Освальд.

— Умеет, ведьма, — сказал Ян. — Что умеет, то умеет. Теперь долго такой свининки не будет.

— Почему? — спросил Освальд.

— Так один самолет прямо на ее свинарник упал. Вот визгу-то небось было! Все вперемешку изжарились: и летчик, и свиньи, и китаец. Такое, понимаешь, рагу.

— И китаец сгорел?

— И китаец. Он там, со свиньями, ночевал. С ума сойти — спать в свинарнике. Я бы никогда не смог.

— Я бы тоже.

— Ладно, пойду я. Хорошая у тебя можжевеловка. Ты, главное, никого не пускай. И ставни пока на засовах держи. Ружье у тебя есть?

— Нет.

— Дать?

— Не надо, я не умею.

— Я к вечеру еще заеду.

Весь недолгий день Освальд, как неприкаянный, слонялся по темному дому. Вечером Ян не приехал. Ночью Освальда донимали то шаги, то стук в окно; он вскакивал, дрожа, и ждал, когда звук повторится; звук не повторялся. Через день на маленькой белой танкетке приехал офицер в черной форме и велел Освальду ехать с ним. Он привез его на лесную поляну, где около костра грелись три солдата, а на пятнистом брезенте посреди поляны лежали пятеро, раздетых до белья. Четверых Освальд не знал. Пятым был Ян. У всех на груди напротив сердца были серо-коричневые круглые пятна с черной дырочкой в центре.

— Он был у тебя? — спросил офицер Освальда.

— Да, — сказал Освальд. — Два дня назад.

— Водкой его поил? — спросил офицер.

— Дал с собой, — сказал Освальд. — А что?

Офицер, не размахиваясь, ударил его по скуле.

— Положить бы тебя шестым рядом с ними, — мечтательно сказал он, покачиваясь на скрипучем снегу с пяток на носки. — Теперь у них машина, форма полиции, форма гражданских гвардейцев, винтовки, гранаты… Много водки дал?

— Литр, — сказал Освальд и заговорил торопливо, захлебываясь концами слов: — Так ведь, господин офицер, как полицейскому-то не дать, когда просит, это же невозможно совсем, это же вовсе никак невозможно, и на опохмелку даем, и просто так, а уж в мороз-то, само собой, отказать нельзя, вы же понимаете, господин офицер…

— Дорого твой литр отечеству обошелся, — сказал офицер ледяным голосом. — Ладно, иди.

— Домой? — не поверил Освальд.

— Домой, домой, — отмахнулся от него офицер. — С глаз моих!

— Вот спасибо, — сказал Освальд, пятясь и кланяясь, — вот спасибо-то…

Пешком до дому он добирался полтора часа и основательно замерз: лицо, руки, ноги. Отогрелся он быстро, но никак не мог унять дрожь. Все становилось как из киселя, едва он вспоминал глаза офицера — а вспоминал он их тем чаще, чем сильнее старался забыть, — глаза желтые, как у кошки, воспаленные — то ли с похмелья, то ли от бессонницы, — с крохотными зрачками, неподвижные — глаза убийцы, понял Освальд. Ему стало еще страшнее. Не убежать, не спрятаться — найдет, догонит. Не задобрить, не купить… В какой-то момент он поймал себя на том, что встает и одевается, чтобы куда-то идти. Потом он оказался у мельницы, дверь почему-то была открыта, горела керосиновая лампа, и в дальнем углу, за жерновами, на связках пустых мешков сидели двое. Освальд обмер, но один из сидящих повернулся так, что осветило его лицо, — это был Альбин. Кричать на него и ругаться было бесполезно. Второй был незнакомый, в стеганке и ватных брюках, и в полутьме Освальд не сразу разобрал, что это китаец.

— Лю? — спросил Освальд, вглядываясь в него. — Ты что тут делаешь?

Альбин замычал и замахал руками перед лицом Освальда, а потом стал пальцем выводить на полу буквы. Это был не Лю, а его младший брат, он приехал к старшему, но теперь, когда Лю убило, ему некуда идти, жить же там, где убило Лю, он боится. Пусть он помогает на мельнице.

Это было и хорошо, и не очень. Освальд подумал, прикидывая все расходы и выгоды, потом сказал:

— Хорошо.

Альбин залопотал, захлопал китайца по плечу, заулыбался. Китаец тоже робко улыбнулся.

— Понимаешь по-нашему? — спросил Освальд, выговаривая слова медленно и четко.

Китаец посмотрел на Альбина. Альбин замычал и завертел головой.

Тогда Освальд показал на жернов и раздельно сказал:

— Жер-нов. Жер-нов.

Показал вокруг и сказал:

— Мель-ни-ца.

Показал на Альбина и сказал:

— Аль-бин. Мас-тер.

Показал на себя и сказал:

— Хо-зя-ин.

К весне китаец знал три десятка слов и понимал еще столько же. Он постоянно что-то делал; и в доме, и на мельнице теперь был идеальный порядок. А когда сошел снег, он с разрешения Освальда вскопал несколько длинных и узких грядок и что-то там посеял. Каждый раз, идя из дома на мельницу или обратно, он на минуту-другую задерживался у этих грядок, что-то поправляя, взрыхляя, подравнивая. Растаял лед, вода в пруду прибыла наконец, мельница закрутилась. Как ни странно, зерна везли мало, были дни, когда вообще не везли. Освальд по совету Шани перестал брать за помол деньгами, брал только зерном: меру за восемь. Действительно, купить что-то за бумажные деньги стало трудно — их просто не брали. Брали золото, вещи, продукты. Шани как-то, выпив, сказал, что за эти полгода они с дядей учетверили капитал. В мае Освальд поднял цену — стал брать меру за шесть. Его ненавидели, но ничего не могли сделать. В апреле еще на грядках китайца взошло множество самых причудливых ростков. Он не переставал возиться с ними. Иногда он просто сидел возле своих грядок, сосредоточенно прислушиваясь к чему-то. Поскольку его работе на мельнице и по дому это не мешало, Освальд смотрел на его чудачества сквозь пальцы. Странно, однако, было то, что жесточайшие заморозки середины мая, побившие даже ко всему привычную осоку, ростков не погубили.

В конце мая, а может быть, уже в начале июня — Освальд не помнил точно — по дороге, страшно дымя, завывая и подпрыгивая, подъехала и остановилась перед домом черная жестяная машина «гном» — из тех, что в Капери служат такси. Из машинки выбралась закутанная в огромный плащ девочка лет четырнадцати, шофер вынес две перевязанные бечевкой картонные коробки, получил золотой, потоптался, видимо, намекая, что одного золотого мало, ничего не дождался и уехал, отчаянно газуя в жидкой грязи, заполнявшей колеи. Освальд подошел к девочке.

— Ты кто? — спросил он.

— Это вы — Освальд? — Она смотрела на него с надеждой.

— Я - Освальд, — сказал он. — А ты все-таки кто?

— Я ваша кузина, — сказала она. — Я из Евтимии. Меня зовут Моника Тенн. Наши мамы были сестрами. Теперь их нет, но все равно я ваша кузина. Это письмо, мама написала его вам за три дня до того, как умерла. Вот.

Освальд взял письмо, уже зная, что там будет. Дорогой племянник, возможно, Вы и не помните меня, но я держала Вас на руках, когда Вы были еще совсем крошкой… памятью Вашей матери, а моей дорогой сестры Барбары… только крайняя нужда заставляет… голод и болезни… будьте ей опорой и защитой… да будет простерта над Вами рука Господня… Ваша любящая тетушка Алиса. Дата, подпись… Освальд посмотрел на девочку. Глаза у нее были мокрые, веки и губы подрагивали. Ситуация… Плевать, подумал Освальд. Потом разберемся.

— Тащи все это в комнату на втором этаже, — сказал Освальд. — Будешь там жить. Готовить умеешь?

Девочка улыбнулась, кивнула, шмыгнула носом, подхватила свои коробки и пошла, путаясь в полах плаща, в дом. Освальд смотрел ей вслед. Дармоедка, нерешительно подумал он. Его охватило вдруг чувство, что все это уже когда-то было, и тогда, в прошлый раз, все кончилось плохо.

Сразу перестало хватать воздуха. Дом, уже год такой послушный и пустой, вдруг будто бы приобрел вторую тень, стал, как при отце, неуютным и почти враждебным. Освальд ни на секунду не мог сбросить напряжение, прислушивался к звукам и шагам, медлил, прежде чем войти в какую-нибудь дверь. На столах стали появляться банки и кувшины с букетами полевых цветов. В комнате отца — теперь ее занимала Моника — как по волшебству, возникло множество разнокалиберных глиняных горшочков с землей, из которой торчало что-то зеленое. Потом китаец и Альбин приволокли туда целую кадку с каким-то деревцем. Получив очередное письмо от отца — отец писал, что сумасшедшего капитана заперли в каюте, но цель — дойти до Северного полюса — решили оставить; поскольку магнитный компас из-за груза железной руды в трюмах показывает все что угодно, кроме сторон света, то рулевому приказали держать курс по Полярной звезде, а чтобы не сбиться даже в пасмурную погоду, Полярную звезду прикрепили к бушприту, и теперь, в какую бы сторону пароход ни шел, он неминуемо попадет на Северный полюс самым кратчайшим путем, — читая это письмо, Освальд машинально вошел в комнату отца, чтобы засунуть письмо за картинку на стене, и увидел, что Моника голая вертится перед зеркалом, подражая тем негритянкам в прибое; когда он вошел, она не завизжала и не задергалась, а взглянула на него через плечо, неторопливо подошла к стулу, на спинке которого висел ее халатик, накинула халатик на плечи, села на стул и стала смотреть на Освальда молча и холодно. Освальд покраснел, скомкал в кулаке письмо и вылетел наружу. Моника постепенно вытеснила китайца с кухни. И позже, наливая Освальду суп в тарелку, она сказала:

— Мама говорила, что я немножечко с приветом. Вы не обращайте на меня внимания, пожалуйста.

— Только чокнутых мне тут не хватало, — сказал Освальд.

— Я не чокнутая, — сказала Моника. — Я просто не до конца понимаю некоторые условности.

Между тем на грядках китайца происходило непонятно что. Похоже было, что там все понатыкано вперемешку, лук с горохом, огурцы со свеклой, все это ненормально быстро перло вверх, к солнцу, перло буйно и весело, китаец воткнул в грядки длинные жерди, к ним на высоте своего роста привязал такие же продольные и поперечные перекладины, потом, выше — еще раз. Получилось что-то вроде клетки. Как по заказу, рядом с грядками выросли два муравейника, Освальд иногда, забавляясь, смотрел, как муравьи волокут упирающихся гусениц, или дразнил их соломинкой и потом слизывал муравьиную кислоту. Моника каждое утро ставила на стол большую миску мелко нарубленной зелени — это было вкусно. Освальд ел и нахваливал, китаец улыбался. Несколько ночей подряд бомбили Капери. Шани ездил потом туда и сказал, что сгорело полгорода. Освальд стал брать за помол одну меру с пяти. Приезжал староста, уламывал его, угрожал судом. Освальд согласился вернуться к прежней оплате, один к шести, но с условием, что после обмолота управа станет выделять ему работников не только бесплатно, но и со своими харчами. Староста поворчал, но согласился.

В селе появилось много нищих из города: побирались под окнами, крали, если плохо лежало. На мельницу забредали редко. Освальд запретил и Монике, и китайцу давать помногу — чтобы не прикармливать.

В июле навалилась сушь. Где-то горели подожженные леса, солнце даже в полдень было красноватым; закаты по-настоящему пугали. На полях горели посевы, горели травы, трескалась земля. Освальд уже понимал, что урожая не будет. Старухи на хуторах ворожили, пытаясь вызвать дождь. Шептались, что такая засуха неспроста. По ночам Освальд с китайцем перетаскивали мешки с зерном и мукой из амбара в надежный подвал под домом. На Монику иногда находило: она переставала видеть людей и вела себя так, будто была одна, и нужно было тряхнуть ее посильнее, чтобы привести в чувство. Каждый день она голая купалась в пруду. Китаец в ужасе прятался на мельнице. Освальд смотрел на нее из окна и скрипел зубами от злости и на нее, и на себя. Иногда он ловил себя на том, что испытывает к ней настоящую ненависть — душную и тяжелую. Единственным, что никак не реагировало на жару, было странное хозяйство китайца. Конечно, он поливал грядки, таская воду ведрами из пруда, но какая же это поливка: по два ведра на грядку? На солнцепеке жухла даже та трава, которая росла у самой воды. Китаец же снимал с длинных вьющихся плетей каждый день по корзине крепеньких, в пупырышках и даже в каплях росы, огурчиков, которые Моника тут же солила на зиму. Потом, после огурчиков, пошли какие-то непонятные овощи, размером и формой напоминавшие чайную чашку — «сунцзы»; Освальд попробовал их и не одобрил; больше они не появлялись. Китаец исчезал в переплетениях стеблей и выныривал обратно с самыми неожиданными плодами в руках: так, раз он выкатил огромную желтую дыню. Моника просила инжир, долго пыталась втолковать ему, что это такое, китаец приносил что-то похожее, Моника отвергала; наконец, принес то, что надо, — фиолетовые мясистые плоды. Моника попробовала, восхитилась и дала откусить Освальду — оказалось непривычно сладко и вкусно. Китаец взял корзину и через пять минут вернулся — уже с полной. Освальд пытался было сунуться следом за ним, но тесно переплетенные стебли не пропускали.

— Нет, хозяин, — сказал китаец. — Не моги. Большой. Надо маленький. Надо я, надо она. Большой не моги. Как-то раз Освальд захотел грибов — китаец сходил и принес грибы. Моника ставила жареные грибы на стол, когда приехал Шани.

— Еще неделя-другая такого пекла — и ага, — сказал он, входя. — Где это ты грибы взял? Выгорело же все.

— Не все, как видишь, — сказал Освальд. — Садись, пробуй. Пить будешь?

— Только пиво, — сказал Шани.

— Моника, пиво осталось? — спросил Освальд.

Моника молча встала на колени, откинула крышку ледника, нагнулась, дотягиваясь до одной из веревок, привязанных к поперечине; Шани издал какой-то странный хлюпающий звук, Освальд посмотрел — Шани, отвесив челюсть, впился взглядом в Моникин зад.

— Тихо, ты, — сказал Освальд.

Шани с трудом оторвался от созерцания, потом посмотрел на Освальда, в восхищении покачал головой и показал оба оттопыренных больших пальца.

Моника выволокла из ледника канистру с пивом, налила полный кувшин и спустила канистру обратно. Потом подала кувшин на стол и поставила три стакана.

— Маленьким девочкам пиво нельзя, — сказал Освальд.

— Жарко, — сказала Моника. Она налила себе полный стакан, выпила, налила еще один и уже маленькими глотками отпила половину.

— Вот это да, — сказал Шани. Она улыбнулась ему.

К концу обеда Моника захмелела. Впрочем, Освальд с Шани — тоже. Пиво было крепчайшее — от Станислава. Шани хихикал непонятно над чем, Освальд чувствовал, что погружается, как в трясину, в бездонную грусть. Моника же расшалилась, бегала по дому и шумела. Освальду опять стало казаться, что это было уже и плохо кончилось.

— Слушай, — Шани ткнул его кулаком в бок, — может, уступишь девочку?

— Иди ты, — сказал Освальд. — Это же моя сестра. Хоть и двоюродная.

— А я что? — сказал Шани. — Я, может, женюсь. Когда подрастет…

— Она ненормальная, — сказал Освальд. — На нее находит… затмение.

— Ну что ты говоришь — ненормальная, — забеспокоился Шани. — Вполне нормальная.

— Увидишь еще, — сказал Освальд. — Я же знаю. Я же с ней живу, не ты.

— Да? — Шани потеребил кончик носа, вздохнул. — Ну, ладно…

— Я тебя, может, как друга предостерег. Она чокнутая.

— Все равно этот год не переживем, — с тоской сказал Шани. — Чует мое сердце — перемрем все…

Голая Моника спустилась по лестнице, прошла мимо кухни, где сидели Освальд и Шани, и направилась к пруду.

— Чего это она? — испуганно сказал Шани, глядя на нее через окно.

— Говорю же — чокнутая. Находит на нее — людей перестает видеть. Как лунатик, понимаешь? Как будто нет никого.

— Вот здорово-то, — сказал Шани. — Как бы я это хотел — чтобы никого не было.

— Давай водки выпьем, — предложил Освальд.

— Давай, — сказал Шани.

Из оставшегося в памяти Освальда: Шани водит у него перед носом кривым пальцем и зудит: «А китаеза твой — колду-ун, колду-ун, ой какой колду-ун…» — Вода в пруду теплая-теплая, даже не мокрая какая-то вода… — Никого нет, только в глаза, как фонарь, светит багровая луна.

Очнулся Освальд от мягких влажных прикосновений к лицу. Он открыл глаза. Тут же от лица его что-то отдернулось в испуге. Непонятно было, где это он. Попробовал подняться — не смог, что-то крепко держало поперек груди и за руки. В страхе рванулся — руки освободились. Перевернулся на живот. От резкого движения что-то сдвинулось в голове, земля заходила ходуном, как студень, — не удержался и повалился на бок. Отлежался, приподнялся, посмотрел кругом: переплетение стеблей и лоз — огород китайца! Отлегло от сердца. Свет пробивался сверху — лунный; что-то подсвечивало и снизу, Освальд посмотрел в ту сторону — несколько длинных, как свечи, светящихся грибов, свет от них шел яркий, резкий — не чета лунному. В этом свете слева от себя Освальд уловил какое-то шевеление: там, освещенное сзади и сбоку, бугрилось что-то темное и пористое, вроде чуть приподнятой над землей шляпки очень большого и очень старого гриба, и под эту шляпку мелкими вороватыми движениями втягивались тонкие гибкие щупальца… Освальд рванулся так, что затрещала спина, вырвался из-под держащих его стеблей, вскочил на ноги, тут же упал, споткнувшись, и в свете луны увидел, как втягиваются обратно туда, внутрь этой дьявольской клумбы, выбравшиеся наружу стебли — длинные и гибкие, как змеи. Освальд влетел в дом, и здесь его немного отпустило. Здесь были стены. Он достал из ледника остатки пива, припал прямо к горлышку канистры и стал глотать его — ледяное и упругое, глотки проскакивали в желудок как камешки, твердые и тяжелые. После того, как пиво кончилось, он был уже твердо уверен: померещилось. Он лег, но уснуть не мог, кошмар возвращался, обрастая все новыми подробностями. Утром он нос к носу столкнулся с Шани, выходившим из комнаты Моники.

— Ты не это… не думай чего, — отводя глаза, забормотал Шани. — Пьяный был, проснулся — возле нее лежу, собрался — и ходу. А ничего не было, это я тебе точно говорю, я хоть и пьяный, а такое-то понимаю…

Освальд чувствовал, как у него леденеют губы и горло.

— Скот… — начал он и задохнулся.

Шани прошмыгнул мимо него, в дверях остановился и обернулся.

— А не только твой китаец колдун, — сказал он. — Все вы тут колдуны…

Моника из комнаты не выходила. Китаец колдовал около огорода: что-то поправлял, подвязывал, Освальд видел, как он качает головой и разводит руками. Ночное видение вновь стало казаться не кошмаром, а действительностью. После обеда приехал работник с одного из дальних хуторов, привез двенадцать мешков пшеницы и сказал, что про мельницу ходят нехорошие слухи, будто мельник и его работник-колдун подпустили засуху — и нельзя ли в таком разе за деньги докупить еще мешочков пять-десять муки? Освальд заломил цену, работник неожиданно цену принял, золото было у него в кисете вместе с табаком — ударили по рукам, загрузили телегу, работник хлестнул по волам, телега, повизгивая осями, развернулась и поехала, а Освальд задумался. Надо было срочно что-то делать.

Под вечер приехал почтальон, привез еще одно письмо от отца. Отец писал, что они уже пятый месяц не видят земли, все океан да океан, видимо, что-то стряслось с американским континентом, так как по расчету координат пароход находится в районе города Денвер, штат Колорадо. Отца, узнав, что он бывший мельник, назначили старшим механиком, потому что в принципе конструкция мельничного привода и паровой машины где-то схожи. Вчера неподалеку от них всплыло какое-то огромное морское животное, на поверхности были видны только глаза, огромные, как мельничные колеса, а потом оно нырнуло и проплыло под пароходом, почесав себе спину о киль, да так, что судно пронзила долгая дрожь, а между некоторыми листами обшивки, там, где давно не обновляли клепку, стала проступать вода, и матросы говорят, что достаточно одного хорошего шторма, чтобы пустить пароход на дно, но все пять месяцев стоит полнейший штиль, и поэтому особенно непонятно, что случилось с Америкой…

Уже стемнело, когда верхом, без седла, прискакал Шани.

— Ты тут придумай что-нибудь, — сказал он Освальду. Голос у него был отчаянный. — Мужики шумят по дворам, хотят тебя завтра жечь идти…

Он залез на лошадь и ускакал в темноту.

Тут Освальд вспомнил, что Альбин сегодня вообще не показывался. Когда Освальд вошел в дом, китаец и Моника сидели за столом. На столе горкой лежали какие-то похожие на грушу плоды, Моника ножом отрезала от одного из них кусочки и отправляла в рот.

— Попробуй, как интересно, — сказала она. — Растет в земле, как картошка, а по вкусу совсем как колбаса. Освальда передернуло.

Он долго лежал в темноте без сна. Почему-то вспомнился офицер в черном — тогда, зимой… в тот самый день, когда появился китаец… Они не оставили мне выхода, подумал Освальд. Глупо… Когда взошла луна и все стихло, он встал и пошел в чулан под лестницей. Там на полке с инструментом лежала пешня — небольшой ломик с рукояткой, чтобы зимой долбить проруби в пруду. Он взял пешню, взял фонарь «летучая мышь», посмотрел вокруг, что бы такое взять еще, но ничего не нашел. Дорожка до мельницы шла мимо огорода китайца, поэтому Освальд взял далеко в сторону и потом в лесу долго искал выход на плотину. Он тихо прошел по плотине — вода текла по желобу тонюсеньким ручейком, колесо почти не вращалось — и толкнул незапертую дверь мельницы. Там было темно, и Освальд подумал, что надо зажечь фонарь, но забыл, как это делается, — стекло не хотело подниматься. Наконец он справился с ним, ломая спички, зажег фитиль и стал осматриваться. В глазах плавали лиловые пятна. За жерновами, там же, где он в первый раз увидел китайца, стоял топчан, и китаец спал на нем, с головой укрывшись мешком. Освальд подошел ближе. Он был в двух шагах, когда китаец приподнялся на локте и открыл глаза, щурясь от света.

— Драстуй, хозяин, — сказал он. — Приехай привезла?

Освальд молчал. У него сразу отнялось все тело. Он медленно присел и поставил фонарь на пол.

— Серно молоть? — неуверенно спросил китаец и спустил ноги с топчана, нашаривая свои тапочки из старой автопокрышки, и тогда Освальд, что-то закричав, наотмашь ударил его пешней. Удар пришелся по поднятой руке, китаец ахнул и попытался встать, и Освальд опять ударил его, целясь по голове, и опять промахнулся, китаец тонко закричал по-птичьи, и это было так страшно, что Освальд захотел убежать, но вместо этого увидел, как ломик опускается на голову китайца и погружается в череп — неглубоко, но китаец начинает клониться вперед и падает у ног Освальда. Освальд схватил его под мышки и приподнял. Голова китайца запрокинулась, из раны густой струей побежала кровь. Освальд деревянными руками положил его на мешок, закрыл зачем-то другим мешком, стал стирать кровь с пола и с рук… Потом пришел холод. Холодная волна прошла через голову, сдавила виски. Не возясь больше с тряпками, Освальд поднял китайца на руки и вынес наружу. Китаец был легкий, легче мешка с мукой, но неудобный. Освальд донес его до огорода, присел, не выпуская его из рук, отдохнул, потом, напрягшись, резко встал и изо всех сил бросил в заросли. Раздался тяжелый всхлип. Освальд на заплетающихся ногах обогнул огород и, не раздеваясь, плюхнулся в пруд. Он долго просидел в воде, отмывая лицо, руки, одежду. Потом он выбрался из пруда и пошел в сарай. Там была припрятана большая ценность: бочка автомобильного бензина. Освальд подкатил бочку к огороду, выбил чоп и, наливая бензин в ведро, стал методично окатывать растения. Сразу же началось шевеление, треск, шорох. Потом, когда бензина в бочке почти не осталось, он поднял ее, как китайца, и тоже забросил в заросли. Взял ведро, в котором специально оставил бензину на донышке, отошел шагов на тридцать, снял рубашку, затолкал ее в ведро. Подождал, когда она пропитается бензином, и бросил в ведро горящую спичку. Пыхнуло огнем, потом загорелось ровно и дымно. Не дожидаясь, когда ведро раскалится, Освальд схватил его и бросил в сторону огорода — и успел упасть на землю, прежде чем рвануло. Его обдало диким жаром, он приподнял голову и посмотрел: крутилось пламя, и в пламени кто-то метался, и стебли, еще живые, пытались расплестись и расползтись, но огонь был слишком жарок, они мгновенно гибли и сами становились причиной огня, а по низу все кто-то метался, и из земли выдирались кривые корни, корчась и съеживаясь в пламени, рушились поддерживающие жерди, и чад стал распространяться по-над самой землей — жирный и сладковатый чад…

Освальд не помнил, как он дошел до дома, как, сдирая с себя все, рухнул на постель, как крутился на раскаленной постели, как вскочил и бросился вверх по лестнице, как Моника кричала: «Нет! Нет! Нет!», а он схватил ее, оторвал от окна, повалил и подмял… он и помнил это, и не помнил одновременно — знал, что помнит, поэтому боялся вспоминать. Ему хотелось начать жить с того момента, когда он оторвал голову от подушки и увидел, что Моника сидит рядом, поджав ноги, и что-то чертит пальцем на простыне, а по стеклу жадно барабанят дождевые капли.